

Н.М. Солнцева

Куняев С.С. Николай Клюев. М.: Молодая гвардия, 2014. 647 с.

Книга С.С. Куняева о жизни и творчестве Н.А. Клюева вышла в серии ЖЗЛ, а потому не может отвечать строгим параметрам научного издания. Но она притягивает к себе специалистов и представленными в ней архивными изысканиями, и неизвестными фактами, и интерпретацией произведений поэта, и религиозным, литературным, политическим контекстом, и акцентным прочтением изданных в 2005 и 2010 гг. воспоминаний о нем. В книге развивается острая филологическая интрига, в которой есть и неоспоримая истина, и версии, и яркая провокация.

Любая, художественная или научная, биография – расследование, начиная с датировок и заканчивая концепцией всего жизненного пути. В случае с Клюевым проблемы возникают с самого начала – с определения года рождения (1884, 1886 или 1887), даты рождения (10, 12 или 13 октября), крещения (11 октября). Жизнь Клюева, его религиозные воззрения, его образное мышление необычны для литературного потока 1900–1930-х гг., и исследователь его творчества, как правило, сомневается, что правда и что миф, порожденный самим поэтом или мемуаристами. Как пишет К.М. Азадовский: «[...] все, что касается первых двадцати лет жизни Клюева, покрыто туманом, сомнительно, неопределенно»¹.

Все «покрыто туманом» или не все? Верить или не верить Клюеву, чьи автобиографические произведения названы исследователями житиями? Например, в то, что в Соловецком монастыре Клюев носил девятифунтовые вериги. Или в то, что афонский старец юношу из старообрядческой семьи так легко привел к сектантству. Или в то, что Клюев был в Смирне. Приводя неоспоримые факты, С.С. Куняев в целом ряде фрагментов проявляет необходимую корректность, высказывая предположения о возможных причинах событий и возможных источниках образов. Точка зрения, изложенная в жанре версии и допускающая спор, привлекательней аксиомы.

Так, С.С. Куняев пишет: «можно предположить», что сбивший с толку юного Клюева старец – именно «изгнанник из Афонского монастыря» (рец. изд., с. 31),

¹Азадовский К. Жизнь Николая Клюева. СПб.: Изд. ж-ла «Звезда», 2002. С. 23.

поскольку был связан, как это вспоминал сам поэт, с персидскими бабидами, розенкрейцерами, хлыстами, скопцами – с теми, кого опасалась мать, отправившая сына на выучку в монастырь, где еще был силен дух старообрядчества. Старец заменяет нательный крест Клюева черным агатом с вырезанным на нем треугольником и словом «Шамаим» (небеса). К расшифровке этого факта специалисты обращаются часто, но мы не можем не привести предположения С.С. Куняева: «Полная надпись [...], очевидно, была: “Серисбиди Шамаим” – “скопец волею небес”» (рец. изд., с. 32). Не менее привлекательна отсылка к мнению В.В. Розанова об ошибочном переводе скопцами этого евангельского стиха. В книге содержится достаточно того, что можно допустить. Например, в отношениях Клюева с сестрами А. Добролюбова в 1900-е: «[...] Мария Добролюбова и ее сестра Елена были в этот период, пожалуй, наиболее близкими ему духовно людьми» (рец. изд., с. 61). Или: «Клюеву, читавшему роман Мережковского “Петр и Алексей”, ничего, кроме отвращения, не могло внушить описание автором староверов само сожженцев как “безумной толпы”, а сцена хлыстовского радения могла привести только в холодную ярость» (рец. изд., с. 51). Или: «И все же сильное сомнение закрадывается в справедливости слов Клюева, который отнес вероисповедание своей матери к серафимовскому православию» (рец. изд., с. 15). Или предположение о линии жизни С. Есенина, если бы рядом с ним не оказался Клюев. В связи с разговором Сталина и Ягоды 17 января 1934 г. С.С. Куняев пишет: «Время было самое напряженное – XVII съезд ВКП(б), знаменитый “съезд победителей” [...] Рискну предположить, что на этой встрече и была решена судьба Николая Алексеевича Клюева» (рец. изд., с. 575).

Мотивировкой поведенческой специфики может служить неожиданная параллель. Например, стиль одежды Д. Балашова (косоворотка, шаровары, сапоги) убеждает автора в органичности, а отнюдь не в маскарадности наряда Клюева. Об эмоциональном и физическом состоянии арестованного поэта автору говорит почерк при заполнении анкеты и, конечно, сами ответы на вопросы следователя. Порой то, о чем можно догадываться, звучит как бесспорная данность. Например, С.С. Куняев полагает, что должность отца Клюева (а он был полицейским урядником, потом сидельцем в винной лавке) – хорошая возможность получать информацию о предстоящих актах, направленных против староверов, идеальное конспиративное место для их тайных встреч. И это убеждает. Автор обращается к воспоминаниям о Клюеве людей, его понимавших и ему чужих, и выстраивает биографический, мировоззренческий, этический контекст, объясняющий причины той или иной характеристики. Возможно, излишняя серьезность проявлена в неприятии известных свидетельств Г. Иванова, поскольку в той или иной степени мифологизированы чуть ли не все персонажи «Петербургских зим», а художественный вымысел, граничащая со снобизмом ирония – свойства художественно-документального метода Иванова-мемуариста.

Книга побуждает к размышлениям и дальнейшим поискам ответов на вопросы, которые ранее не возникали. Например, о природе эзотерических возможностей Клюева. Действительно ли, как полагает С. Куняев, он совершенствовал

эзотерические методики, пребывая между миром нашим и тонким? Или не было в этом необходимости, поскольку его визионерские способности проявились уже в детстве? Особо отмечаем историю отношений Клюева и Распутина, имя которого не раз появляется в его произведениях. И дело не только в том, что С.С. Куняев обратил внимание на путаную хронологию известных фактов, выстроил свою линию событий, собрал яркий материал. В книге есть новое прочтение стихотворения Н. Гумилева «Мужик». С.С. Куняев видит в тексте образ явный (Распутин) и скрытый (Клюев): «[...] и на наших глазах совершается контаминация образов царского фаворита и того, с кого Гумилев по сути писал его портрет» (рец. изд., с. 228). В свою очередь стихотворение Клюева «Меня Распутиным назвали...» (<1917>) рассмотрено как ответ Гумилеву.

Биографический контекст крайне важен для тех, кто в той или иной мере занимается творчеством Клюева. События его жизни, этнографические традиции, литературные предпочтения, круг чтения – верный ключ к пониманию его произведений и источников образов. Приведенные в книге сведения содержат филологические подсказки. Так, говорится о том, что видения были не только отроку Николаю, но и его матери. Фраза из автобиографических записей Клюева 1919 г. о том, что матери привиделся малиновый дуб и на нем птица с ликом Параскевы Пятницы, и служила птица канон трем звездам, которые пишутся на Богородичном плате, объясняют, на наш взгляд, символ трех огненных дубов и трех солнц в «Песни Солнценосца» (1917). Загадочная поэма «Мать-Суббота» (1922) о «пеклеванном» Христе, с трудом поддающаяся толкованию в силу густоты тропов и скрытых ассоциаций, вряд ли может быть по-настоящему осмыслена, если не знать, какой сакральный смысл хлеб обрел для Клюева изначально: его крестили в хлебной квашонке. С.С. Куняев уточняет: через перепечение, младенца привязывали к хлебной лопате (в случае с Клюевым помещали в квашонку) и трижды отправляли в печь. Как полагает автор, именно такое крещение ассоциировалось в сознании поэта с евангельским символом хлеба жизни – плоти Христовой. Сюжет о крещении в квашонке, действительно, многое объясняет в понимании поэтом своего пути в контексте жизни Иисуса Христа. Как по поводу этого же факта заметила Е.И. Маркова: «Иисус родился в Вифлееме, что в переводе на русский язык означает “город хлеба”»¹. Оспаривая точку зрения К.М. Азадовского, согласно которой крещение в квашонке – не реалья, а вымысел, Е.И. Маркова пишет: «Действительно, в метрической книге Коштугской церкви Вытегорского уезда есть запись о крещении поэта. Однако в двойном крещении у старообрядцев и новообрядцев нет противоречия»². В книге говорится и о культе хлеба в хлыстовских обрядах.

Появление в мирской литературе мистических знаковых для Клюева образов, например Белой Индии, получает исторический, религиозный, геополитический комментарий. Клюевская евразийская сентенция «Сократ и Буд-

¹Маркова Е.И. Родословие Николая Клюева. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2009. С. 116.

²Там же. С. 117.

да, Зороастр и Толстой, / Как жилы, стучатся в тележный покой»¹ обозначает, по С.С.Куняеву, «сакральные точки Земли: Грецию, Индию, Персию и Россию» (рец. изд., с. 257). В книге развернута тема духовной близости Клюева Рериху, говорится о значении для них апокрифа о жизни Иисуса у арийцев, и таким образом объясняется освященность Белой Индии христианской идеей. Евразийская горизонталь предстает вертикалью земного и небесного. Не менее интересна мысль об источнике клюевского «О скопчество – венец, золотоглавый град...» (между 1916 и 1918). Автор полагает, что «побудительным толчком» (рец. изд., с. 281) послужила фраза Иванова-Разумника о духовном скопце в предисловии к сборнику «Скифы». Возможно, именно так и было. Но возможно, духовное скопчество мало что объясняет в брутальной физиологичности стихотворения Клюева. В любом случае мы получаем еще один «побудительный толчок» к размышлению, как и восприятие автором «плотного» Христа в стихах Клюева в связи с «бесплотным» у В. Розанова: с «Темным ликом» и «Людьми лунного света» поэт «не расставался вплоть до своего последнего ареста» (рец. изд., с. 319).

В границах жанра рецензии не представляется возможным коснуться всех филологических аспектов книги, но на одном все же остановимся. Речь идет о плагиате. Ориентация Клюева на мотивы, сюжеты северно-русского фольклора – исследованный факт (*Маркова Е.И.* Творчество Николая Клюева в контексте северно-русского словесного искусства. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2007). Фольклорная поэтика обогатила стиль произведений Клюева, как и поэтика древнерусских, святоотеческих текстов. Но в ранний период творчества он, оказавшись среди голгофских христиан, опирался и на сектантский фольклор, что впоследствии, при разрыве с голгофским братством, послужило поводом к обвинению его в плагиате. Как пишет исследователь творчества поэта С.И. Субботин, «держать клюевские песни на “шестке” стилизации – явное упрощение»². Во-первых, литературная обработка фольклорных произведений получила свое законное место в книжной литературе. Вспомним обвинения в адрес М. Ремизова в «Биржевых ведомостях», «Русском Слове» и др. по поводу его художественного пересказа народных легенд. Вспомним аргументы М. Волошина в защиту Ремизова (незавершенная статья «О плагиате», 1909–1910) и самого Ремизова, стремившегося воссоздать народный миф, сказку в их идеальном виде («Письмо в редакцию», 1909). Во-вторых, обратимся к прочтению С. Куняевым известного письма Клюева Блоку (до начала марта 1912 г.), в котором высказана тревога по поводу издания его «Братских песен» (июнь 1912): речь идет именно о «песнях» и о том, не повредит ли ему издание несовершенных с художественной точки зрения «песен». Да и само название книги содержит отсылку к сектантскому, «братскому», фольклору. Мы принимаем вывод С. Куня-

¹*Клюев Н.* Сердце Единорога / Предисл. Н.Н. Скатова, вступ. ст. А.И. Михайлова, сост. и примеч. В.П. Гарнина. СПб.: РХГИ, 1999. С. 308.

²*Субботин С.И.* Николай Клюев // Русская литература 1920–1930-х годов. Портреты поэтов: В 2 т. Т. 1 / ред.-сост. А.Г. Гачева, С.Г. Семенова. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 56.

ева: «[...] для него собственно поэтическое творчество и сочинение “песнопений” для “братьев” находятся на разных полюсах. Индивидуальное лирическое начало несовместимо в его восприятии с “коллективным действием”, когда вариация на услышанный и запомненный или записанный гимн есть продолжение “братского” сотворчества» (рец. изд., с. 118). Сотворчество в данном случае означает наличие фольклорного источника. Но предположим, что текст целиком авторский. Тогда обратимся и к аргументу Р. Вроона, касающемуся цели написания «песен» членом общины: «В предисловии к “Братским песням” Клюев утверждает, что его песни устно и в списках распространялись среди земляков; напрашивается, таким образом, вывод о функциональном характере этих песен, сочиненных для внутреннего обихода “братий” [...] по отношению к обсуждаемым текстам самим Клюевым предложено жесткое правило чтения: на первом месте должна выступать их религиозная функция, и только на втором (или даже третьем) – эстетическая. Иначе, кстати, не объяснить причины некоторой тревоги автора по поводу того урона “с художественной стороны”, который могут потерпеть его стихи в силу их религиозной установки. Для такой тревоги не возникло бы оснований, если бы в работе над духовными гимнами поэт преследовал цель стилизатора – сугубо эстетическую по своей природе»¹. С.С. Куняев, таким образом, вступает в диалог с коллегами. Как он пишет, обработка фольклорных мотивов специфична для Клюева (но, заметим, не тотальна, речь идет лишь об одном из направлений творческого поиска), что отразилось в цикле «Песни из Заонежья». В названиях текстов Клюева достаточно указаний на «фольклорность» жанра. Это «Песня про судьбу» (<1912>), «Песня про волынку» (<1913>), «Песнь Солнценосца» (<1917>) и другие – вплоть до могучей эпической поэмы «Песнь о великой матери» (между 1929 и 1934). Но и их язык, и мотивный ряд говорят о его авторстве. Убеждает предложенное С.С. Куняевым сопоставление мотивов «Красной горки» (<1912>) сквозным претекстом – фольклорной песней XVIII в. Различия очевидны. Как пишет автор: «И так в каждой обработке, начиная с раннего “Матроса” и до “Радельных песен”»; Клюев, опираясь на источники, «не “стилизовал”, а творил собственные гимны и песнопения» (рец. изд., с. 124).

Выстраивая концепцию жизни и творчества Клюева, создавая его интеллектуальный портрет, С.С. Куняев, конечно, опирается на «Житие» Аввакума, «Поморские ответы» Денисова, «Шестокрыл» Эммануэля-бар-Якоба, «Новый Маргарит» Курбского, скопческие величальные песни и еще многое другое, что было упомянуто Клюевым в «Песни о великой матери».

В книге широко дана литературная среда. Опираясь на содержание и стиль писем Клюева к Блоку 1907–1915 гг.², автор книги реконструирует хронологию их общения, обращает внимание на отсутствие постоянства в

¹Вроон Р. Старообрядчество, сектанство и «сакральная речь» в поэзии Николая Клюева // Николай Клюев: Исследования и материалы / Ред.-сост. С.И. Субботин. М.: Наследие, 1997. С. 59.

²См.: Николай Клюев. Письма к Александру Блоку: 1907–1915 / Подгот. изд-я К.М. Азодовского. М.: Прогресс-Плеяда, 2003. 368 с.

иерархии «учитель – ученик»: Блок в меньшей степени наставник, в большей – человек, внимающий Клюеву и принимающий его упреки. Подробно рассмотрена история взаимоотношений поэта с голгофскими христианами, причины и характер его участия в их изданиях, обстоятельно изложена интрига его разрыва с братством. Особо отметим фрагменты книги, в которых идет речь о месте Л. Толстого в мировоззрении Клюева. Эта линия повествования во многом дополняет пока еще мало исследованную тему влияния Толстого на сознание новокрестьянских писателей, включая С. Есенина и П. Карпова. Толстой – и образ поэзии Клюева, и автор книг, на которые он пишет рецензии, и тот, кого он защищает от нападок М. Арцыбашева. Психологический портрет Клюева, его взгляды на современную литературу, эстетические пристрастия, неприятие личности или творчества кого-то из писателей – все это проясняется через описание его общения с А. Ахматовой, А. Белым, А. Блоком, А. Ганиным, З. Гиппиус, С. Городецким, Н. Гумилевым, С. Есениным, В. Кирилловым, С. Клычковым, В. Маяковским, А. Ремизовым, Л. Семеновым, А. Ширяевцем и др.

Литературная судьба Клюева требует исторического комментария, и в книге в необходимом объеме развернуты пояснения, касающиеся и Крестьянского союза, и связей старообрядческих общин Запада, России, Востока, и строительства Беломоро-Балтийского канала, и политики партии в деревне, и конфессии бегунов, роли в их учении традиций Соловецкого монастыря и т. д.